

О чём говорят люди, встретив знакомого врача? Верно. О своих болячках. Ну а с журналистом, писателем обычно спешат поделиться «сюжетом», до «описания» которого у самих, мол, не доходят руки. Вот и мне намедни один мой бывший однокашник по вузу, заступив дорогу посреди улицы, доложил первым делом, что он как-то побывал в моём родном селе и встретил там прелюбопытного старика, который «прямо сам в рассказ просится». Делать нечего, я поднял руки:

— Ну, раз уж просится, то валяй.

И приятель, взяв меня за пуговицу, живописал свою памятную встречу примерно таким манером...

Ждал, — говорит, — я проходящего автобуса, чтоб до райцентра добраться. Остановка там, как тебе известно, у магазина, поэтому скучать не пришлось. Место людное. Тем более вечер уже был, солнце висело над дальними деревьями.

Смотрел я на селян и всё старался разглядеть героев твоих притч и бывальщин. Но проходили мимо всё обыкновенные люди: женщины в мужских пиджаках и выгоревших платках спешили после работы в магазин, парни в синтетических куртках и джинсах по пути в клуб заходили

за папиросами, мужики в замасленных комбинезонах и пыльных фуфайках толпились у ларька, где продавали пиво. Никакой экзотики. Потом, правда, появился старик с прокуренной бородой, но тоже довольно обычный, Меня не удивили даже его старомодный плащ и зимняя шапка — в селе многие с сентября шапки надевают.

Старик поравнялся со мной, повесил хозяйственную сумку на тын палисадника и, улыбнувшись неожиданно смущённой улыбкой, присел рядом на скамью.

— Ждём автобуса, — сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно.

Голос глухой, прерывистый. Я кивнул.

— И заметьте, не только молодёжь. Старика много едет. «Куда вас, старых, несёт нелёгкая?» — ворчат другой раз молодые. Не понимают они, что нас гонит. И не поймут, что старым человеком овладевает беспокойство, тревога поселяется в нём, его всегда манит куда-то. Это перед концом земного пути, перед вечным покоем, прости, Господи...

Я насторожился. Неожиданное суждение старика показалось интересным, глубоким. Присмотрелся внимательней к деревенскому философу. Худой, ширококостный старик. Голубоватая кожа бритого лица полупрозрачна. При разговоре кадык снуёт челноком вверх-вниз. Глаза ввалились, слезятся как у трахомного, однако смотрят живо, горячо, искрятся чувством и мыслью.

— А больше всего манит в наше детство, в молодость, на дороги прошлого, — сказал старик, помолчав. — Меня вот, к примеру, зовёт Белоруссия. Корни мои там. В Сибирь мальцом привезли родители, в двадцатых, от голодухи. Потом с войной проходил родные места... Я не помешал?

— Нет, что вы! Пожалуйста, говорите.

— М-да... Помню в такой же вот день осенью, листва уж падала с деревьев, стояли мы там на передовой. Ложок такой был, берёзы по гребешку оторочкой. Дальше — равнина болотистая, открытая, а за ней в лесу — немец. Тогда затишье небольшое было после боя. Порядочно потрепало наши ряды. Ждали подкрепления. И немец тоже молчал, раны зализывал — крепко ему накануне всыпали.

После двух бессонных ночей, помню, отстоял я ещё одну в карауле, перемёрз, измотался совсем, на ногах еле держался. А наутро разрешил мне ротный соснуть пару часов. Ушёл я в край окопа, гнездо соорудил из жухлой травы, листьев, из веток, нашёл какого-то брезента кусок и как лёг, так и провалился. Никогда столь крепко не спал в жизни. Потом проснулся, так ажно слюни растеклись по рукаву шинели — сладко соснул. Пробудился, однако, в душевной тревоге. Сон мне был. Такой, брат, яркий, какие редко бывают и помнятся потом до гробовой доски.

А приснилось мне, что будто иду я лугом, вот здесь, за нашей деревней, Солнце, цветы кругом, шмели гудят, жаворонки заливаются, и так хорошо у меня на душе. Но вдруг навстречу выходит из березняка старуха с литовкой на плече. Незнакомая, ненашенская. Худая, как тень, и чёрным платком повязана. «Здравствуй, — говорит, — Василий. Чего это ты прохлаждаешься? Сенокос на дворе, косить пора, смотри, травы-то нынче какие. Пошлика в ложок, я там тебе покосец присмотрела...» Говорит, а сама как-то нехорошо на меня глядит, недобро, и лицо у неё белое-белое, как смерть. Подходит ещё ближе, литовку снимает, а я ни словечка выговорить не могу, вроде отсох язык у меня, и только машу ей: дескать, уходи, уходи, старая! Осклабилась она редкими зубами, повернулась круто. «Ладно, — говорит, — другому отдам покосец-то...» И проснулся я тут.

А проснулся оттого, что дружок мой Иван Сайко — такой беззаветный мужик был, алтайский, — дёргает меня за ногу.

— Вставай, — говорит, — Василий, пополнение прибыло. Ротный велел всем начеку быть. Приказ о наступлении ожидается.

Поднялся я, отряхнулся, а всё не могу опомниться, где это я и что со мной.

— Спишь ещё? — засмеялся Иван.

— Сон я видел, Ванюша, забавный такой...

И рассказал ему всё подробно, как вот тебе. А он послушал и аж с лица сменился.

— Ох, — говорит, — Василий, нехорошо это — старуху с косою видеть. Это ж знаешь кто? Это ж она, Безноса, за тобой приходила.

У меня мурашки по спине побежали.

— Ладно, — говорю, — тебе ворожить-то, поживём ещё, Ванёк, повоюем.

Хлопнул его по плечу и через силу рассмеялся.

А пополнение прибыло — сплошь молодняк. Матросики сухопутные. В бушлатиках, в бескозырочках набекрень и весёлые, будто на свадьбу приехали. Всё шуткой, всё смехом. Быстро перезнакомились со всеми. Меня разом батей окрестили. Я хоть и нестарым был, немногим за тридцать перевалило, да ведь обросли мы там, как пеньки, исхудали, на все, поди, шестьдесят смотрелся. К тому же усы я носил, и виски с пробелью были. Это после того, как мне сообщили, что старший сынишка в тылу от дистрофии помер... Такие ловкие ребята прибыли, аж и мы вроде повеселели с ними.

Потом, на склоне дня, вызывает меня ротный к землянке.

— Ты, — говорит, — Сухов, постарше, поопытней, сходи-ка осторожненько туда, к лесу, поинтересуйся, что он там делает. Подозрительно: больно тихо себя ведёт, должно, какую хитрую штуку замышляет.

— Есть идти, — говорю. — Только вот... сон я, товарищ командир, больно нехороший давеча видел. Нельзя ли... — и не договорил.

— Что-о? Сны твои гадать будем или воевать? Слышал приказ? — поднялся на меня ротный.

Ох и лютой был — ужась...

И вдруг в этот самый миг подлетает матросик, Коля Воронов, читинский родом был:

— Разрешите мне! Пусть батя отдохнёт, устал человек, нервишки шалят...

Говоря это, старик с неожиданным проворством вскочил со скамьи, молодежато вытянулся передо мной и взял под козырёк. Но после «доклада» разом смолк и как-то вроде завял, ссутулился, согнулся, точно снова на плечи ему

взвалили непомерный груз, и тяжело опустился на скамью. Закрыв глаза, покачал головой в молчании, будто вспоминая о чём-то. Потом заговорил снова.

Остыл ротный. Подумал, сплюнул и махнул рукой.

— Ладно, — говорит, — пойдёшь ты, Воронов, и ты, Сайко, — указал на моего дружка алтайского.

Тут бы мне встрять и самому вызываться пойти, да убоился страшного сна, промолчал...

Ну и пошли они. Час нету, другой, третий. Ждали мы их, ждали, а потом слышим, потемну уже, пулемёт у него, у немца, застучал. Дал одну очередь, дал другую — и замер. Молчок. И тишина опять наступила. Такая, брат, тишина — уши ломит. Только и слышно, как сухая листва на деревьях шелестит, по земле скабарчит...

— На твоей они совести, Сухов! — сказал мне потом ротный в сердцах.

А я и сам так думал. И не могу с той поры слышать, как палый лист шуршит, вздыхает вроде бы. По сердцу скребёт. И не спится мне осенью, ворочаюсь ночами, как в жару мечусь...

Шумно поохав и покачав головой, старик поднялся, погладил поясницу, снял сумку с тына и пошёл вдоль улицы на разбитых ногах.

Так закончил свой рассказ приятель и хитровато взглянул на меня: узнал ли я, о ком идёт речь? Я дал ему время насладиться моим мнимым затруднением, а потом спокойно сказал:

— Всё верно. Только старика того зовут не Василий Сухов, а Никифор Тимохин, по прозвищу Микиша Лёгонький, поскольку в молодости бегучим был, лёгким на ногу. А рассказ, который ты слышал от него, давно уже стал деревенской притчей под названием «Микишин сон», что значит — сон вещий, пророческий и к тому же тревожащий душу.